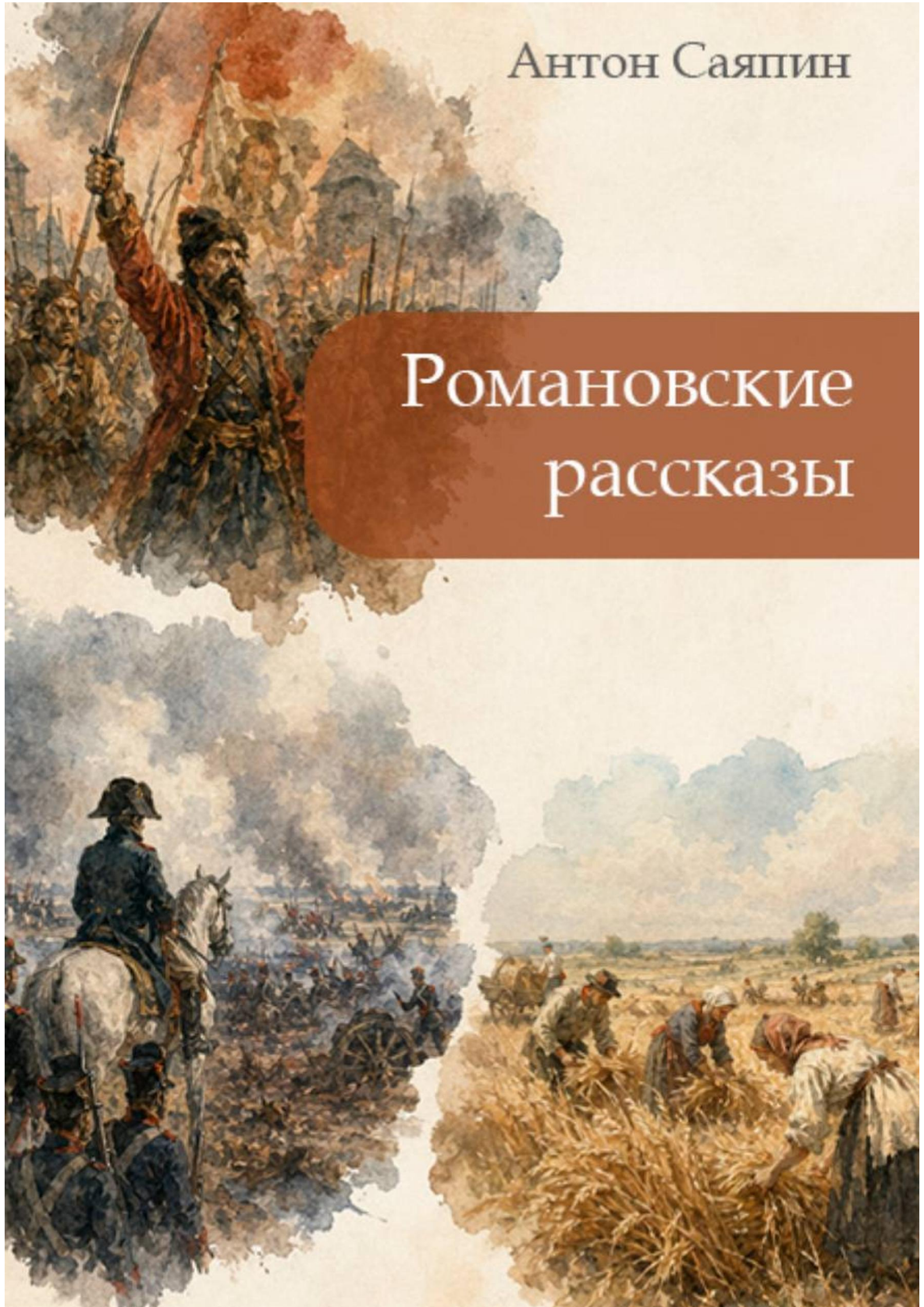




Антон Саяпин

Романовские рассказы

АНТОН СЯПИН

Романовские рассказы

«Автор»

2026

Саяпин А.

Романовские рассказы / А. Саяпин — «Автор», 2026

Исторические рассказы о времени, когда Россией правили Романовы. Каждый рассказ — это отдельная история, которая повествует о жизни и быте крестьян и служилых людей.

© Саяпин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Список	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Антон Саяпин

Романовские рассказы

Список

I.

Земля в тот день была мерзлая, и яму копали с утра. К полудню управились. Гроб несли четверо сыновей — не торопясь, степенно, как и подобает хоронить человека, прожившего жизнь без особого шуму и без особого греха.

Степана Лукьяновича хоронила вся деревня. Он был очень любим своими сельчанами, потому что за всю жизнь не сделал никому худого. Что ни попросишь его — все сделает, всем поможет. И когда умер — бабы плакали в голос, а мужики, уткнув свои носы в стылую заснеженную землю, тяжело вздыхали.

После отпевания, пока бабы сутились вокруг вдовы и накрывали поминальный стол, мужики остались стоять у ограды. Ноябрьский ветер тянул низом, шевелил полы зипунов. Говорили негромко, как говорят после похорон — вполголоса, будто покойник еще слышит.

— Долго прожил, — сказал дед Пахом, самый старый из присутствующих, шурясь на солнце. — Еще при Лисавете Петровне был. Это не всякому

— Да, кажись, даже биронщину успел застать, — поправил кто-то.

— Неважно. Долго.

Молчали. Потом один из молодых — Василий, внук мельника, лет семнадцати, с любопытством на розовощеком лице — спросил, словно невзначай:

— Дед Пахом, а правда говорят, что Степана Лукьяновича после пугачевщины в острог хотели? Что он в каком-то списке был?

Старики переглянулись.

— Кто это говорит? — осведомился дед Пахом. Спросил он это без особого раздражения, скорее устало.

— Да люди. Слыхал я.

— Люди много чего говорят.

— Нет, погоди, — вступил дед Еремей, маленький, сухой, с белой бородкой клинышком. — Было что-то такое. Я тогда молодой был, но помню — говорили, что Степана в какой-то список внесли. Не то чиновники, не то воинские люди. Будто бы он бунтовщикам помогал.

— Выдумки, — отрезал дед Пахом.

— Отчего выдумки? Я слышал то же самое, — подал голос еще один старик, Кузьма, дальний родственник покойного. — Тогда по всей округе людей в список вносили. За всякую малость. Кто лошадь дал, кто хлеб продал — все записывали.

— Ездили, точно ездили, — согласился Еремей. — Чиновники с писарями. Заходили в каждый двор, расспрашивали. И что-то записывали.

— Ну и что с того? Расспрашивали всех. Это не значит, что Степан в список попал.

— Значит, не значит — не знаем, — пожал плечами Кузьма. — Только Бог его уберег, вот и весь ответ. Значит, жить ему было велено.

Молодой Василий слушал внимательно, переводя взгляд с одного старика на другого. Ему казалось, что они знают что-то, чего-то не договаривают. Но старики, судя по всему, и сами ничего толком не знали.

— Бог уберег, — повторил дед Пахом и замолчал.

II.

Место для ночлега унтер-офицер Жуков выбрал сам — небольшая роща у высохшего русла, в стороне от дороги. До ближайшего села было верст пять, может шесть. Он прикинул расстояние на глаз, посмотрел на небо — солнце садилось, но темнело в июле поздно, можно было еще ехать. Но лошади шли уже восьмой час.

— Стой, — скомандовал он. — Тут заночуем.

Распрягли лошадей, пустили пастись на длинных привязях. Жуков расседлал своего гнедого сам — Прохор хотел помочь, но он отстранил его. Снял седло, повесил на сук березы. Свёрток с бумагами оставил притороченным — рогожа, веревка, казённая печать сбоку. Подумал секунду, не снять ли, убрать в сумку. Не снял. На седле надёжнее — на виду, потеряться не должно.

Лошадь привязал к той же берёзе. Хорошо привязал, проверил узел.

Денщик Прохор быстро и умело развел костер. Достали хлеб, солонину, фляги с водой. Унтер-офицер сел на свернутый тулуп, снял сапоги, пошевелил пальцами. После долгого пути ноги сильно гудели. Сейчас же, обдуваемые легким летним ветерком, он чувствовал удовлетворение.

Их было четверо. Он сам, двое солдат — Филька и Семен — и Прохор. Везли казенное добро: мешки с зерном для гарнизонного склада, ящик с воинскими припасами и сверток с бумагами. Свертком Жуков дорожил — не из особой тревоги, а по привычке к порядку. Казенные бумаги должны быть при офицере.

Ужинали молча, как ужинают усталые люди. Семен жевал медленно и смотрел в огонь. Прохор возился с котелком. Филька лег на спину прямо в траве и смотрел в темнеющее небо.

— Завтра к обеду доедем? — спросил Филька.

— Должны к обеду, — ответил Жуков.

— Это хорошо.

Ни о чем большем и не говорили.

Ночь была теплая — по-июльски теплая, когда не нужно ни тулупа, ни лишней одежды, когда земля еще хранит дневной жар и трава пахнет сухо и сладко. Где-то далеко кричал коростель, а лошади фыркали в темноте и рвали траву.

Жуков назначил в дозор Фильку — с полуночи и до рассвета.

— Не спать, — сказал он.

— Не буду, — ответил Филька.

Жуков посмотрел на него. Филька был молодой, лет девятнадцати, с круглым лицом и светлыми ресницами. Исполнительный, но сонливый — это Жуков знал. При других обстоятельствах поставил бы Семена. Но Семен кашлял третий день.

— Не спать, — повторил он строже.

— Слушаюсь.

Офицер лег, закрыл глаза. Засыпал он быстро — выработанная годами солдатская способность. Коростель кричал, трава пахла, кострище уже погасло, тускло моргая тлеющими угольями. Он не слышал ничего этого уже через несколько минут.

Ночью он один раз проснулся.

Почему — непонятно. Никакого звука, никакого движения. Просто открыл глаза в темное небо, полное звезд, полежал несколько секунд. Тихо. Лошади стояли и он слышал, как одна из них переступила, звякнула привязь. Где-то у костра виднелся силуэт — это Филька был на посту.

Жуков не окликнул его и закрыл глаза. Больше он не просыпался.

Утром его разбудила птица.

Он открыл глаза — небо было уже светлое, бледно-голубое, солнце еще не вышло, но вот-вот должно было. Он потянулся, сел, огляделся по привычке — общий осмотр, каждое утро одно и то же.

Береза была. Сук, на котором висело седло, был. А вот лошади и седла не было.

Жуков стоял и смотрел на сук. Утро было тихое, пахло травой. Коростель кричал в поле.

— Филька, — сказал он.

Голос вышел спокойный. Он еще не понял до конца — или понял, но не пустил это понимание дальше, держал на расстоянии.

Филька спал, сидя у потухшего костра, привалившись к березе. Голова набок, рот приоткрыт. При звуке голоса дернулся, выпрямился, захлопал глазами.

— Я не сплю, — сказал он немедленно.

— Филька, — повторил Жуков. — Встань и подойди.

Что-то в голосе командира было такое, что Филька встал сразу, без промедления. Подошел и увидел, что сук пустой. Веревка, которой крепилась рогожа с документами, валялась на земле. Седло пропало.

— Господи, — сказал он тихо.

Жуков уже не смотрел на него. Обходил место ночлега — сначала березу, потом шире. Трава была примята там, где ходили ночью — подошел с той стороны, от русла, тихо, по сухой земле. Следов почти не было, когда уводили лошадь — июльская земля, твердая, росы еще нет в это время года.

Тогда он разбудил Семена и Прохора.

Снова начали искать. Делали это молча. Прочесали всю рощу. Прошлись вдоль сухого русла в обе стороны. Вышли на дорогу — ни следа, ни пыли, ничего. Лошадь увели не по дороге, а напрямик через поле, и поди найди след в высокой траве.

Прохор нашел в ста шагах от рощи клочок конского волоса на кусте. Это было все, что они смогли найти.

Жуков сел на землю там, где сидел вечером. Смотрел прямо перед собой. Солнце вышло. Стало тепло почти сразу — по-июльски, без раскачки. Обычное летнее утро.

Лошадь стоила денег. Это было плохо, но переживаемо. Лошадей воруют — такое иногда случается и довольно часто.

Кто-то мог взять лошадь, потому что нужна была лошадь. Вместе с ней и седло прихватили. Благо, он висел недалеко на березе. Увел, не глядя что на седле. Сверток потом, навверное, обнаружил, развязал — бумаги, казенные, с печатями. Выбросил в поле, испугался.

Филька стоял в стороне. Лица на нем не было.

— Господин унтер-офицер, — начал он.

— Молчи, — сказал Жуков.

— Я только...

— Молчи.

Филька замолчал. Он понимал, что с ним сейчас будет — по всем правилам должен был понять. Уснул на посту. Из-под носа увели лошадь с казенными бумагами. Это не выговор. Это суд.

Жуков сидел еще минуты три. Семен кашлял у костра, который денщик снова разжигал по привычке, не зная, что еще делать. Оставшиеся лошади паслись. Небо было чистое, синее, ни облака.

За утрату казенных бумаг — следственного дела, с печатями, с подписью исправника — его ждало следствие. Не просто бумаги. Это было государственное дело.

Он думал ровно, как думает человек, который приучил себя не паниковать. Паника стояла жизни в разных обстоятельствах и он это знал.

Можно было ехать в ближнее село, поднять людей, искать лошадь. Шансов найти не было — он это понимал. Лошадь уже далеко, сверток или при ней, или нет — в любом случае следов не осталось.

Можно было приехать в уездный город и сказать правду. Что Филька уснул. Что лошадь увели из-под носа спящего часового. Что казенные бумаги пропали.

Он представил это и решительно отмел эту мысль от себя.

Потом подозвал Прохора и сказал:

— Бумагу и перо.

Денщик достал из дорожной сумки письменные принадлежности, разложил на ящике с припасами. Жуков сел, подумал еще немного — последний раз, — обмакнул перо.

Писал недолго. Рапорт вышел складный. Мол, напали разбойники — человек шесть, вооруженные. Была короткая схватка и лошадь угнали. Часть казенного имущества похищена, в том числе пакет с документами, находившийся при седле. Отряд потерь не понес.

Он перечитал написанное и поставил подпись.

Потом посмотрел на Фильку. Тот стоял и смотрел на него — и по лицу его было видно, что он понял. Понял, что в рапорте нет ни слова о том, что он спал. Понял, что унтер-офицер его покрыл — не из доброты, а потому что иначе все рассыпалось бы при первом же вопросе: как могли напасть разбойники и угнать лошадь, если часовой не слышал ничего?

Филька открыл рот.

— Не надо, — сказал Жуков.

Филька закрыл рот.

— Запрягай, — сказал Жуков Прохору. — Едем.

Выехали, когда солнце уже стояло над деревьями. Жуков ехал на Семеновой лошади — Семен пересел в телегу. Дорога шла полем, потом лесом, потом снова полем. Было жарко.

Жуков ехал молча и смотрел на дорогу.

Он не думал о тех, чьи имена были в свертке. Это было бы неправдой — он не думал о них совсем. Он думал о рапорте. О том, выдержит ли он проверку. О том, не скажет ли Филька лишнего — со страху или по глупости, или просто потому что не умеет молчать.

Семен кашлял на козлах.

Роща давно осталась позади. Коростель кричал там — Жуков слышал его еще долго, пока дорога не ушла за пригорок и березы не скрылись из виду.

III.

Мальчика звали Алешка. Ему было одиннадцать лет, и он пас хозяйских коз в степи уже третье лето — с тех пор, как отец надорвался на покосе и слег.

Отец лежал дома, на печи, и кашлял. Иногда переставал кашлять на несколько дней, и тогда мать говорила — слава богу, лучше. Но лучше не становилось. Алешка это понимал тем способом, которым дети понимают то, о чем взрослые не говорят вслух. Он знал, что отец больше не встанет. И гнал коз в степь каждое утро.

Хозяин его звался Никодим Савелич — мужик крепкий, рыжеватый, скупой на слова равно как и на деньги. Платил Алешке мало, кормил сносно, иногда давал кусок хлеба с солью сверх положенного — и это считалось щедростью. Алешка на него не обижался. Других хозяев у него не было, и сравнивать было не с чем.

Коз было семнадцать. Алешка знал их всех по именам — не тем именам, что давал Никодим Савельич, а своим, тайным. Самую старую, серую, со сломанным рогом, он звал про себя Степанидой. Молодую белую — Дунькой. Козла, который всегда лез не туда и жевал все подряд, включая подол Алешкиной рубахи, — Архипом. С козами он разговаривал иногда — очень тихо, практически себе под нос. Ведь в степи разговаривать было больше не с кем.

А степь он знал хорошо — лучше, чем деревенскую улицу, лучше, чем дорогу до церкви. Три лета — это много, если ты в степи каждый день. Он знал, где бьет родник под плоским камнем у балки. Знал, где летом держится тень до полудня. Знал, где в июле цветет что-то лиловое и мелкое, отчего козы становятся беспокойными — лучше не гнать их туда. Знал,

как меняется небо перед грозой, и за сколько времени нужно уводить отару, чтобы успеть под берег оврага.

В то утро небо было чистое. Алешка поднялся до света — мать разбудила, как всегда — умылся у колодца холодной водой, съел краюху хлеба, взял кнут и погнал коз. Архип сразу полез в огород к соседке, пришлось за ним бегать. Степанида шла медленно, как всегда — она была старая, и Алешка ее не торопил.

Никодим Савелич сказал с вечера: гони на дальний выпас, к сухому руслу. Там трава лучше. Вернись завтра утром, жди.

Алешка и гнал.

Сверток он увидел не сразу.

Сначала увидела Дунька — остановилась, вытянула шею, понюхала воздух. Алешка посмотрел в ту сторону — ничего особенного. Бурьян у края оврага, сухая трава, коричневатый ком чего-то у самого края. Он прошел туда, думая, что может быть дохлая птица или чья-то брошенная котомка.

Так и оказалась — только не котомка, а сверток из рогожи. Рогожа потемнела от двух ночей под открытым небом — размокла, слиплась. Веревок не было. Алешка присел на корточки, потрогал. Внутри что-то было.

Он огляделся — по привычке. Степь была пустая. Далеко, у горизонта, двигалось что-то — может, телега, может, просто мерещится в дрожащем летнем воздухе. Козы разбредались. Он свистнул Архипу, чтобы не уходил, и развернул рогожу.

Это были бумаги. Много бумаг — листов двадцать, может больше. Часть слиплась от влаги, часть рассыпалась сразу, как только он взял в руки. Он поднял один лист, посмотрел. Буквы были мелкие, ровные, написанные чьей-то уверенной рукой. На нескольких листах внизу стояли печати — красного и черного воска, вдавленные глубоко, с узором. Одна печать была сломана, воск раскрошился по краям.

Алешка не умел читать. Он этого почти не стеснялся — в деревне грамотных было двое, поп да дьячок, и оба были взрослые. Но сейчас он смотрел на буквы и чувствовал что-то вроде досады. Было ясно, что это важное. Печати — значит казенное. Значит, чье-то. Значит, потеряли или бросили.

Он сдул с одного листа прилипшую травинку. Бумага была хорошая, плотная. Такую бумагу он держал в руках первый раз.

Подождал еще немного — может, придет кто-то за ними. Никто не пришел. Козы разбредались. Степанида зашла в бурьян по брюхо и жевала там что-то с видом полного довольства. Архип терся о его ногу.

Алешка собрал бумаги обратно в рогожу, завернул кое-как и пошел дальше.

День прошел обычно. Он гнал стадо вдоль русла, потом к балке, потом обратно на ровное место, где трава была пожелче, но козы ее брали охотно. Жара стояла плотная, июльская. Алешка нашел тень под одиноким кустом, сел, достал хлеб — Никодим Савельич дал на два дня, черствый, но сытный. Съел, запил водой из баклажки. Подремал немного — мальчишка умел дремать вполуха, чтобы слышать стадо.

Про сверток почти не думал. Мало ли что лежит в степи.

Но вечером, когда пригнал коз на место, где они ночевали — небольшая ложбинка, укрытая от ветра, — и разжег костер, снова достал рогожу. Просто посмотреть.

Огонь плохо занимался. Степная трава давала дым — белый, густой, немного горьковатый. Алешка подкладывал сухие стебли, дул, шурился. Козы улеглись рядом — Степанида сразу, тяжело, со вздохом. Дунька потерлась мордой о его плечо и тоже легла.

Он разложил бумаги перед собой — аккуратно, как умел. Несколько листов порвались, пока нес. Он попробовал их сложить — не вышло. Смотрел на буквы долго, как будто они могли что-то открыть. Но те молчали и ничего ему не открыли.

Одна печать была красивая — с орлом, кажется, или с какой-то птицей. Он потрогал ее пальцем. Воск был гладкий, холодный.

Он подумал, что можно их отдать попу. Поп грамотный, разберет. Но до попа далеко, и Никодим Савелич не велел никуда уходить. Подумал, что завтра отдаст, когда придет хозяин. Но потом представил, как будет объяснять — нашел, мол, в степи — и не смог придумать, что дальше скажет. Хозяин мужик скорый на руку.

Огонь наконец разгорелся — сухой стебель занялся, потом другой. Стало светлее. Алешка смотрел на огонь и думал о том о сем — ни о чем конкретном, так, как думают в одиночестве у вечернего костра. О том, что завтра хозяин привезет хлеба. О том, что Степанида совсем старая — этой зимой, наверное, зарежут. О том, что дома отец кашляет.

Потом, не особо думая, взял несколько листов и сунул в огонь.

Бумага занялась сразу — хорошо, жарко, с маленьким веселым треском. Огонь стал ярче. Алешка протянул руки к теплу. Сунул еще несколько листов. И еще. Печать с орлом подержал немного — жалко было — потом тоже бросил.

Воск капнул в огонь, зашипел. Красота!

Несколько листов он отложил в сторону. Вдруг пригодятся. Для чего — непонятно, но бумага хорошая. Может, мать найдет применение. Остальное догорело. Рогожу он тоже бросил — она занялась плохо, долго тлела и воняла.

Потом лег, подложил руку под голову. Небо было темное, звездное. Козы дышали рядом — тепло, ровно. Степанида во сне пережевывала что-то, двигала челюстью медленно и успокоительно.

Алешка закрыл глаза.

Утром пришел Никодим Савелич — приехал на телеге, привез хлеб и луковицу. Алешка погнал коз домой. Шел по степи, как всегда — впереди Архип, сзади остальные, сбоку Степанида, которая не торопилась.

Бумаги, засунутые в карман, выпадали по одному — он этого не замечал. Одна зацепилась за куст полыни, другая улетела по ветру. Третья размокла в луже у дороги. К тому времени, как он дошел до деревни, карманы были пустые.

Вскоре он про них совсем забыл. В степи много чего лежит — кости, черепки, старые подковы. Находишь, смотришь, идешь дальше.

А отец в тот вечер кашлял сильнее обычного.

IV .

Следователь приехал в Солонцовую в начале февраля, когда восстание было подавлено, но по округе еще стояло то особое напряжение, которое бывает после большого страха — не сам страх уже, но память о нем, живая и близкая.

Звали его Петр Александрович Ленков, было ему двадцать шесть лет. В следственное дело он попал не по призванию — его непосредственный начальник, коллежский асессор Бурмистров, слег с горячкой, и Ленкова поставили вместо него временно, впредь до выздоровления. Бурмистров выздоравливал медленно.

Ленков объезжал деревни уже третью неделю. Дело было простое по замыслу и мучительное по исполнению: собрать показания о тех, кто в смутное время так или иначе помогал бунтовщикам. Списки составлялись в нескольких местах одновременно, сводились в уездном городе, там разбирались. Его часть — семь деревень по левому берегу реки и три по правому.

Работа шла плохо. Крестьяне отвечали туманно, мялись, путались. Называли одни имена, потом другие. Или вовсе молчали с такими лицами, что непонятно было — не знают или не хотят говорить.

Агафью Тимофеевну ему указал деревенский староста.

— Баба памятливая, — сказал он, пряча глаза. — И из Крестовой к ней хаживали. Может, чего знает.

В Крестовой Ленков уже был. Там всплыло имя — некоего Степана, крестьянина, которого двое соседей видели рядом с пугачевцами в один из дней минувшего августа. Что именно он делал — показания расходились. Один говорил: лошадь отдал. Другой говорил: только стоял рядом, а лошадь взяли силой. Истина, как водится, была где-то в промежутке, и где именно — Ленков не понимал.

Это имя он внес в рабочие записи с пометкой: *требуется уточнения*.

Изба у Агафьи была просторная, чистая. Когда Ленков вошел, она стояла у печи — возилась с горшками, что-то перекладывала. Сама она была лет двадцати пяти, крепкая, с быстрыми руками и внимательными глазами. Оглядела его так, как хозяйка оглядывает незнакомца на пороге — спокойно, без особой тревоги.

— По делу? — спросила она.

— По делу.

— Садись.

Она вытерла руки о передник и отошла от печи, но не суетилась, не терялась. Ленков видал за эти три недели разных людей — тех, кто бледнел при виде него и путался уже на первом вопросе, тех, кто говорил слишком охотно и явно что-то скрывал за этой охотой, тех, кто молчал с каменными лицами. Агафья была другая. Она просто смотрела и ждала.

Ленков разложил бумаги. Начал с общих вопросов — как всегда, чтобы человек немного привык, разговорился.

Что помнит о смутном времени? Приходили ли в деревню пугачевцы?

Приходили, сказала Агафья. В середине августа, если она правильно помнит. Двое верховых. Просили хлеба и показать дорогу на Михайловское. Она хлеба дала — одна была дома, муж на покосе, детей мал мала меньше. Что еще делать.

— Больше не появлялись?

— Нет.

— Кто-то из деревенских с ними ушел?

— Не из наших. Не слыхала.

Ленков записывал. Почерк у него был мелкий и ровный — единственное, что его в этой работе устраивало.

Потом он перешел к именам.

— Степана из Крестовой знаешь?

Агафья чуть помолчала.

— Знаю. Бывал у нас.

— Как часто?

— Ну, — она повела рукой. — Мужики ездят друг к другу. Скотину смотреть, по хозяйству. Муж мой с ним знаком. Не каждую неделю, но, бывало.

— В то лето бывал? Когда смута была?

— Бывал.

Ленков поднял глаза от бумаги.

— Когда именно?

Вот тут она задумалась по-настоящему. Он видел, как она уходит внутрь, перебирает что-то в памяти. Он не торопил. Научился уже, что торопить нельзя.

— Вот как раз в то время и был, — сказала она наконец. — Я солила тогда. Огурцы. Это я хорошо помню — руки были в рассоле, а он вошел, и мне неловко было. Поговорил с мужем и ушел. Недолго был.

— В какой именно день — не помнишь?

— Числа не скажу. Но конец лета. Огурцы как раз поспели.

Ленков смотрел на нее. Что-то его остановило — маленькое несоответствие, которое он еще не мог назвать точно, но которое зацепилось где-то на краю внимания.

Сейчас стоял февраль. За окном лежал снег, намело его плотно, по самые наличники. До августа было далеко.

— О чем говорил с мужем? — спросил он.

— Я не слушала особенно. По хозяйству что-то, наверное. Или про дела в округе. Тогда про дела много говорили.

— Значит, Степан был у тебя в конце лета, в то самое время. Это точно?

— Точно, — сказала Агафья уверенно. — Я хорошо помню.

Ленков кивнул и записал.

Несоответствие по-прежнему сидело занозой — тихое, неназванное. Он снова перечитал записи по Крестовой. Оба свидетеля называли конец августа. Если он в тот же период был здесь, в Солонцовой, — это либо разные дни, либо кто-то ошибается в числах. Ничего невозможного. Но что-то не давало покоя.

Он спросил осторожно:

— Ты говоришь, огурцы квасила в тот день?

— Да.

— А когда поспели — раньше или позже обычного?

Агафья чуть удивилась вопросу. Подумала.

— В то лето, — она наморщила лоб, — жарко было. Рано поспели, пожалуй. Раньше обычного.

— Раньше обычного, — повторил Ленков медленно. — Значит, могло быть и не в конце августа. Могло быть в середине.

— Ну, в середине, в конце — Агафья пожала плечами. — Конец лета, я и говорю.

— Середина августа и конец августа — это разные дни, — сказал он негромко, не ей, а скорее себе.

Агафья посмотрела на него внимательнее.

— А что, важно это?

Ленков не ответил. Записал в скобках: *точная дата не установлена, возможна середина августа.*

Это меняло картину. Не опровергало, не подтверждало — просто делало ее еще более размытой. Он убрал бумаги и уже собирался встать, когда Агафья вдруг спросила:

— Ему что-то грозит? Степану?

Ленков посмотрел на нее.

— Это следствие решит.

— Я понимаю, что следствие. — В голосе ее не было ни страха, ни заискивания. Просто вопрос, который она хотела задать. — Я и говорю: он мужик хороший. Работающий. Не из тех, кто по своей воле с бунтовщиками пойдет.

— Это не относится к делу.

— Может, и не относится. — Она смотрела на него спокойно. — Только ты бумагам веришь. А в бумагах всего не напишешь.

Ленков промолчал. Не потому, что ему нечего было ответить — а потому что она была права, и он это знал, и именно это его в этой работе и мучило.

Он встал, застегнул сумку.

— Если нужно будет — тебя могут вызвать еще раз.

— Пускай вызывают, — сказала Агафья без тревоги. — Скажу то, что знаю.

Уже в дверях он остановился. Повернулся.

— Последнее, — сказал он. — Ты говоришь, помнишь тот день хорошо. Потому что руки были в расколе.

— Да.

— А сам день — числа не помнишь. И был ли он до того, как пугачевцы в деревню приходили, или после — тоже не помнишь?

Агафья открыла рот и закрыла.

Это был простой вопрос. Она не ожидала его — именно потому, что он был простой. До или после? Раньше она об этом не думала. Степан был здесь, в то лето, когда все случилось. Это казалось само собой понятным — в то лето, значит, тогда же, значит, в то время.

Но до или после?

— Я... — начала она.

— Не торопись, — сказал Ленков.

Она думала. По-настоящему думала — он видел, как что-то движется в ее лице, как она перебирает, сопоставляет. Пугачевцы пришли в середине августа. Она дала им хлеба. Они уехали. А Степан — Степан был когда?

— Не помню, — сказала она наконец. Тихо, почти удивленно. — Не знаю, до или после. Ленков кивнул.

— Это я тоже запишу.

Вышел.

Сел в возок. Велел трогать. Лошадь пошла по накатанной зимней дороге, полозья скрипели по мерзлому снегу.

Он думал о показаниях Агафьи. Она была честным свидетелем — пожалуй, честнее многих других, кого он расспрашивал. Она помнила подробность — руки в рассоле, вошел Степан, неловко было. Такие подробности не выдумывают. Степан действительно был в Солонцовой в то лето.

Но когда именно — этого она не знала. И теперь, после его вопроса, понимала, что не знает.

До прихода пугачевцев или после — это могло означать все что угодно. Если до — Степан просто заезжал к соседям по обычному делу, и это ничего не значит. Если после — тоже ничего не значит, потому что люди продолжали жить и ездить друг к другу и после смуты. А если в тот самый день или около него — то это еще ничего не доказывает, потому что быть в соседней деревне не значит быть с бунтовщиками.

Показания Агафьи не помогали делу. Но и не вредили Степану — они просто добавляли в картину еще один слой неопределенности, которой и без того было достаточно.

Ленков смотрел на белое поле за окном возка. До следующей деревни было верст восемь. Там его ждали другие люди с другими смутными воспоминаниями о страшном лете, которое теперь отделяло от них полгода зимы и которое все помнили по-разному.

Он подумал об Агафье — о том, как она осеклась на простом вопросе. До или после. Она была уверена в своей памяти — уверена до той секунды, пока он не спросил. И вот эта уверенность оказалась меньше, чем казалась.

Он запишет все как есть. Это его работа.

Агафья долго стояла у окна после его отъезда.

Смотрела, как возок скрывается за поворотом дороги, за белыми полями, за голыми февральскими деревьями.

До или после?

Она вернулась к столу, взяла что-то в руки и поставила обратно, не понимая зачем.

Степан был здесь в то лето. Это она знала твердо. Руки в рассоле, он на пороге, муж с ним говорил. Все правда, все так и было. Только вот когда это было — до того дня, когда верховые попросили хлеба, или после? Или совсем в другое время, просто в то же лето?

Она не знала.

И самое странное — до приезда этого молодого чиновника она была уверена, что знает.

V.

Дело о пугачевских пособниках по Михайловской слободе и окрестным деревням тянулось еще года полтора.

Сначала им занимался секретарь Воронин — человек аккуратный, въедливый, с мелким почерком и привычкой все записывать в трехкратном повторе. Он вызывал свидетелей, составлял протоколы, сшивал бумаги в папки с суровой нитью. Папок набралось восемь. Он верил, что порядок победит неразбериху — нужно только не торопиться и все записывать.

Потом Воронина перевели в другой уезд. Дело передали подьячему Семенову, который смотрел на бумаги с нескрываемой тоской и при первой возможности откладывал их в сторону. При нем несколько свидетелей умерли — своей смертью, от хворей и старости — и их показания повисли в воздухе, некому было ни подтвердить, ни опровергнуть. Двое из обвиняемых тоже умерли, не дождавшись приговора. Семенов вычеркнул их из списка с облегчением.

Потом пришел новый исправник — молодой, присланный из губернии, с другими заботами и другими бумагами. Он посмотрел на восемь папок, спросил у Семенова, что с этим делать. Семенов пожал плечами. Исправник велел подождать. Потом велел подождать еще. Потом однажды утром сложил все в дальний ящик стола и занялся недоимками, которые были делом срочным, понятным и куда более насущным.

Про пугачевщину в присутствии старались не говорить. Время было другое. Государыня желала, чтобы смутное время забылось — и оно забывалось, охотно и быстро, как забывается все, что слишком страшно помнить.

Некоторых из списка все же сослали. Трех или четверых — тех, на кого показаний набралось достаточно, или тех, за кем не было никого, кто мог бы замолвить слово или дать мзду в нужном месте. Их увезли осенью, в телеге, под конвоем двух солдат. Деревня смотрела молча. Бабы плакали — тихо, не в голос. Мужики стояли у плетней и смотрели в землю.

Остальные имена растворились. Кто-то из свидетелей взял слова обратно — говорил, запямятовал, попутал с другим. Кто-то вовсе не явился на повторный допрос — сослался на хворь, на дальнюю дорогу, на недоимки. Документы терялись — где-то при передаче от Воронина к Семенову, где-то в сыром архивном чулане, где мыши грызли бумагу без разбора. Противоречия в показаниях множились и запутывались так, что концов уже было не найти.

И было еще кое-что — негласное, но всем понятное: общее желание забыть. Не из доброты и не из милосердия — просто из усталости. Пугачевщина прошла, бунт подавлен, главарь колесован. Что толку ворошить — кто там кому хлеб давал, кто лошадь отдал, кто шапку снял перед самозванцем. Все давали, все снимали. Это было время, когда иначе нельзя было.

Имя Степана из Крестовой больше не всплывало.

Он сам этого не сразу понял. Первые месяцы ждал — каждый раз, когда в деревню въезжал чужой, сжималось что-то внутри, холодело под ребрами. Каждый раз, когда кто-то из мужиков смотрел на него чуть дольше обычного или замолкал при его приближении — думал: знает, донесет или уже донес.

Но проходил день, потом другой, потом неделя — и ничего. Чужие въезжали по своим делам и уезжали. Мужики молчали по той же причине, по которой все молчали, — незачем было говорить. Степан понял постепенно, что дело его кончилось не потому, что его оправдали, и не потому, что забыли — а просто потому, что все утонуло в том медленном болоте, которое затягивало все, что туда попадало.

Это было странное чувство.

Он женился на Марфе через два года после пугачевщины.

Марфа была дочерью кузнеца Ефима — крепкая, молчаливая, с тяжелыми руками и ровным нравом. Красивой ее не называли, но и некрасивой тоже. Степан посватался без долгих раздумий — Ефим был человеком уважаемым, приданое было скромным, но честным, а Марфа смотрела без лишних вопросов. Это Степану нравилось.

Она и правда лишних вопросов не задавала. Про следствие не спрашивала — может, слышала что-то, может, нет. Степан не говорил, она не спрашивала. Так и повелось.

Жили ладно — не богато, но крепко. Родилось четверо: Иван, Никитка, Федор и Лешка. Степан этим дорожил — молча, по-своему, не умея говорить о таких вещах вслух.

Хозяйство он держал в порядке. Оброк платил без задержки — в этом был почти суеверен, как будто исправная уплата оброка была чем-то вроде договора: я свое даю, вы меня не трогаете. Пил в меру — не из слабости к трезвости, а просто знал себя: выпив лишнего, начинал говорить больше, чем надо. Этого он не хотел.

В церковь ходил исправно. Стоял, как все, крестился в нужных местах, слушал службу с тем выражением, которое принято на службе. Что думал при этом — неизвестно. Священник о нем отзывался хорошо: смирный прихожанин, грехов явных не имеет, оброк платит.

По ночам первые года три снилось разное.

Снился офицер, которого вели через деревню со связанными руками — молодой, в разорванном мундире, с запекшейся кровью под ухом. Снился конский топот. Снились голоса снаружи, под окном, и Степан просыпался, садился на постели, слушал. За окном была ночь, деревня, тишина.

Марфа не просыпалась — спала крепко. А если и просыпалась, то не подавала виду. Степан не знал этого.

Потом сны стали реже. Потом почти пропали. Только иногда — когда лаяли собаки не своим голосом, тем дальним, беспокойным лаем, который бывает перед чьим-то приездом, — что-то сжималось внутри по старой памяти. Но он уже умел этого не замечать.

В старости он стал молчаливее, чем в молодости, хотя и тогда не был говорлив. Сидел вечерами на завалянке, смотрел на деревню — на пыльную улицу, на плетни, на баб у колодца, на ребятишек, гоняющих кур. Все это было его — не в том смысле, что принадлежало ему, а в том, что он был частью этого, и оно — частью него.

Внуки крутились рядом. Спрашивали про пугачевщину — дети всегда спрашивают про страшное, им интересно страшное.

Степан отвечал коротко.

— Страхное было время, — говорил он. — Богом отведенное.

— А ты видел Пугачева, деда?

— Нет, — говорил Степан.

Это была правда. Он его не видел.

Больше они не спрашивали — что-то в его голосе, в том, как он произносил это «нет», не располагало к дальнейшим расспросам. Внуки убегали. Степан смотрел им вслед.

Солнце садилось за деревней. Где-то мычала корова. Пахло пылью и вечером.

Степан сидел и молчал. Ему было о чем молчать.

VI.

На кладбище после похорон старики еще немного постояли. Разговор о списке угас сам собой — никто ничего не знал наверняка, и спорить было не о чем.

— Бог уберег, — повторил Кузьма, будто подводя черту.

— Бог уберег, — согласился дед Пахом.

Молодой Василий хотел еще спросить, но посмотрел на усталые лица стариков и промолчал.

Пошли на поминки.

Тем же вечером, за триста верст от Крестовой, в небольшом городке, старый отставной солдат по имени Никифор Жуков сидел у печи и грел больные ноги. Ему было под шестьдесят; он давно вышел в отставку, обзавелся огородом и маленьким домом. Иногда по ночам

ему снилась степь и серое утреннее небо, и он просыпался с неприятным ощущением чего-то невысказанного.

Он вспомнил тот рапорт. Бывало с ним это — накатывало без причины. Разбойники, написал он тогда. Шесть человек, вооруженные. Ни один не поверил по-настоящему, но никто и не проверял — своих хлопот хватало.

Что было в тех бумагах — он уже не помнил. Имена какие-то. Деревни.

Он подбросил полено в печь и пошел спать.

В другой стороне, в большом селе у реки, немолодой уже мужик Алексей — тот самый Алешка, выросший и заматеревший — возвращался с базара. Жена что-то рассказывала про соседей, он кивал невпопад и думал о своем.

Почему-то вспомнились бумаги с красными печатями. Давно это было — он и лет-то своих тогдашних не мог вспомнить. Разжег ими костер. Еще смешно казалось: важные, наверное, бумаги, а он их — в огонь.

Усмехнулся про себя и забыл снова.

В Солонцовой старая уже Агафья Тимофеевна долго не могла заснуть. Что-то ее беспокоило — какой-то давний осколок памяти, который вдруг зашевелился без видимой причины.

Она вспомнила следователя с обмороженными щеками. Вспомнила, что говорила ему про Степана. Что видела его в то время.

А в какое время видела?

Она лежала в темноте и пыталась распутать нити давних воспоминаний. Огурцы квасила. Когда квасила? Это ведь конец лета, начало осени. А смута — смута была позже, кажется. Или раньше? Нет, кажется, позже. Или она перепутала?

Агафья вздохнула, перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Степан-то уже умер. Какая теперь разница?

На кладбище в Крестовой свежий холм чернел среди снежных заносов. Крест стоял прямо. Мерзлая земля плотно легла на гроб.

Молодой Василий, уходя с кладбища, сказал своему приятелю:

— Повезло деду Степану. Просто повезло, что не тронули.

— Повезло, — согласился приятель.

Ветер шел низом по полю, шевелил сухие стебли.

Где-то в степи, в старой земле, лежали, быть может, последние обрывки бумаги с выцветшими буквами. Или давно истлели — кто знает.

Никто не знал. Никто никогда не узнает.

Жизнь человека держится на таких вещах, о которых он сам не догадывается. На чужом страхе. На детском незнании. На неточности памяти, которая путает числа.

Держится — и не падает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.